**СВЕТЛЕЙШИЙ АЛЕКСАШКА**

*Фрагменты романа*

Нева, наконец, оделась льдом, и горожане стали охотно перемещаться с берега на берег. Самые отчаянные вначале ходили пешком, постукивая перед собой палкой с железным наконечником, пробуя лёд на крепость. Речки: Мойка, Фонтанка, Охта, Чёрная и все каналы тоже промёрзли до дна, давая возможность обывателям свободно передвигаться, куда им угодно.

Светало поздно, и рабочему люду приходилось вставать затемно, в душе кляня свою разнесчастную долю и заодно батюшку-царя, по вине которого все они: новгородцы, псковичи, ярославцы, нижегородцы, тверичи, туляки, москвичи, куряне, орловцы и прочие – оказались в этом гнилом, сумеречном и промозглом углу России.

Почти каждый год, на протяжении полутора десятков лет, сюда сгоняли тысячи мужиков. Их руками рылись каналы, вбивались сваи, одевались камнем берега, возводились фабрики, кузницы, лесопилки, заводы для обжига кирпича и черепицы, строились дворцы вельмож, питейные заведения и дома простых горожан.

Труд был изначально подневольным, первыми здесь надрывались и гибли уголовные преступники (если им не удавалось бежать), потом царь распорядился присылать людей по специальному указу.

Требовались в основном каменщики и плотники, но таковых, как правило, не находилось, ибо владетельные помещики расставались лишь с теми, в ком не было особой нужды. А опытными мастеровыми они жертвовать не хотели, любыми путями обходя строгие распоряжения   
самодержца. И мало того что в будущую столицу пригоняли толпы голодных, полуодетых, незадачливых оборванцев – каждому из них ещё полагалось принести с собой мешок земли или груду камней, в полпуда весом. А ни лопат, ни заступов, ни тачек не было.

Но город, «парадиз» – по выражению Петра, тем не менее рос и ширился. За время отсутствия царя каторжные работы по строительству и приведению Петербурга в надлежащий вид не прекращались. А кроме мощных крепостей, пышных дворцов, храмов, каналов, мостов, садов и дач множились кладбища и погосты с приметными и безымянными могилами. В них упокоились бренные тела бесчисленных работников, неимоверными трудами которых возводилось вся и всё…

И сколько тысяч умелых, крепких рук требовалось ещё для окончательного завершения грандиозного плана, задуманного отважным государем?! Выдюжит, вынесет ли Россия этот дерзновенный вызов? Похоже, Пётр не позволял себе в этом усомниться.

Объехав и обойдя вместе с Данилычем и генерал-полицмейстером Девиером все районы и закоулки своего любимого детища, заметив во многих местах недоделки, недочёты и упущения, государь насупился, придирчиво оглядев своих помощников:

– Ну, други любезные, все дыры и прорехи снегом присыпало, – он криво улыбнулся, – а по весне, как солнышко добре пригреет, всё и обнажится!.. Стыда тогда не оберётесь!..

Светлейший мужественно принял удар на себя:

– Моя вина, государь! Однако признаюсь честно – мужиков позарез не хватает… Тысячу-другую пригнать бы, точно не мешало.

Пётр вздохнул:

– Да где ж их взять?..

Помощники переглянулись.

– В армию едва-едва рекрутов набираем, а тут… – царь махнул рукой.

Меншиков вдруг вспомнил:

– Недавно ко мне обер-комиссар князь Черкасский явился, доклад особый принёс.

Пётр насторожился:

– Какой ещё доклад?

Данилыч охотно объяснил:

– Он предлагает заменить труд подневольный вольнонаёмным, через особых подрядчиков… Они и наберут людей, сколько потребуется…

– Это как? Каким чудом? – озадачился царь.

– Князь пишет, что через подрядчиков все работы выполняются и скорее, и лучше, чем подневольными людьми… – Меншиков развёл руками, – Выходит так, что для государства наёмный труд выгоднее… Работники, мол, приходят по своей охоте и управлять ими гораздо легче!

Пётр задумался. Предложение князя Черкасского, при всей его внезапности и смелости, стоило хорошенько обмозговать. Государь оглядел своих спутников. Оба они – и Меншиков, и Девиер – были его добровольными помощниками, не щадившими ни сил своих, ни даже самой жизни ради блага государства, которое отнюдь не было родным тому же Девиеру. Крещёный португальский еврей пошёл на службу по зову русского царя.

Государь скупо улыбнулся:

– Охота, говорят, пуще неволи… А это значит, что охочий человек – невольник сам себе, так, что ли?..

Помощники озадаченно переглянулись. Пётр знал, что они друг друга недолюбливают, даже совсем не терпят, хотя и слывут близкими родственниками. Генерал-полицмейстер угодил в свояки к светлейшему князю, будучи женатым на его родной сестре. Причём сама свадьба случилась только по приказу царя, а Меншиков никак не хотел отдавать любимую сестру за пришлого авантюриста, даже бивал его.

– Кто кому станет невольником, – нашёлся с ответом Данилыч, – пусть решают сами… Лишь бы от того польза была!..

– Дело говоришь! – согласился государь, – И посему следует эту задумку одобрить и дать ей ход…

Он шагнул к своему небогатому экипажу, кивком приглашая туда обоих спутников. Все они с трудом поместились в тесном возке. Пётр намеренно усадил двух недоброжелателей бок о бок, словно не замечая этого.

– Трогай! – скомандовал он кучеру, и царский экипаж лихо покатил по Невской «першпективе» (так тогда именовали проспект), от самой Александро-Невской лавры до Адмиралтейства.

По обе стороны прямой, как стрела, и довольно широкой улицы, вытянувшись в линейку, чинно стояли трёх-, двух- и одноэтажные дома, выстроенные из кирпича (или раскрашенные под кирпич). Всё это напоминало Петру столь любимую им Голландию, разительно отличаясь от несуразной, бестолковой, суетной Москвы, где толком ни пройти, ни проехать…

– Славно тут шведы потрудились, – глядя по сторонам, Пётр указал Девиеру, – а ты, Антон, должен сию главную улицу в образцовом порядке и чистоте содержать.

(Невский проспект был проложен руками пленных шведов.)

– Всякому обывателю, чьи дома тут стоят, надлежит об этом думать и всячески тому способствовать.

Генерал-полицмейстер согласно кивнул:

– Я полагаю, Пётр Алексеич, что в каждой слободе или улице надо назначить старосту, дабы он за порядком строго смотрел и докладывал полицмейстеру…

– Об чём докладывал? – вмешался Меншиков.

– Обо всём… О гулящих и праздношатающихся людишках, обо всех прибывающих и убывающих… – Пётр сурово посмотрел на помощников. – Также нелишним было бы знать, что на базарах продают и почём? Не мошенничают ли? Не обвешивают? Не обсчитывают?.. Не играют ли где в зернь и карты? Не потакают ли ворам и тунеядцам? Заодно и нищим…

У Меншикова глаза полезли на лоб. Свояк же его, напротив, всё принимал беспрекословно и старательно, как всегда. Его отличала беспримерная строгость и въедливая дотошность в исполнении царских указов. Городские обыватели разных сословий только при одном имени генерал-полицмейстера приходили в дрожь. Нерадения и ослушания Девиер не спускал никому.

Государь вздохнул и прибавил с грустью:

– Вот так нещадно, други мои любезные, мы с вами колотимся и бьёмся, столицу и всё государство в божеский вид приводим… – он пристально окинул спутников: – А кому это после нас достанется?..

Губернатор и главный полицейский, не сговариваясь, подумали, что царь, скорее всего, имеет в виду сбежавшего наследника. Почти два года минуло с тех пор, как Алексей тайком уехал заграницу. У Петра был ещё один сын – трёхлетний мальчик Петруша, рождённый Екатериной и названный в честь отца. Но до сих пор он не ходил и не говорил, хотя государь очень любил его, ласково зовя «шишечкой» …

По обыкновению, встав с постели ещё затемно, в пять часов утра, Пётр прошёл в токарню. Запалил от ночника толстую сальную свечу и поместил её в медный подсвечник, рядом с токарным станком. Из бокового шкафчика достал небольшую стамеску, поднёс её лезвие к наждачному кругу, закреплённому на том же станке. Поставил ногу на качающуюся педаль внизу, привычно её нажал.

Дёрнулся связанный с педалью железный рычаг, закрутилось большое маховое колесо с ремённым шкивом, передавшим усилие на колесо малое, и точило стремительно завертелось. Царь приложил к нему лезвие стамески, и целый сноп искр просыпался на пол. В комнате запахло калёным железом.

Пётр любил этот запах, так же как и дух железной окалины, когда тяжёлый кузнечный молот с маху бьёт по раскалённой, грубой полосе, вынутой из жаркой печи, а от неё летят во все стороны бойкие, обжигающие искры и тут же гаснут в полумраке…

Любая работа, связанная с недюжинным усилием, ловкостью и умением, завораживала и неудержимо влекла его. Пётр не только стремился подчинить себе всё стойкое, крепкое и неподатливое, ему не терпелось достичь в каждом ремесле вершин успеха и мастерства.

Наступивший день у царя был заранее расписан. После завтрака он намеревался поехать в Сенат и утвердить там несколько указов: о строжайшем запрете украшать золотом и серебром одежду. Старые, чрезмерно дорогие платья разрешалось донашивать, а новые – шить только из русской, китайской или персидской материи. (И тем самым развивать собственную мануфактуру, а с Персией и Китаем шире вести торговлю.) Ещё следовало запретить азартные игры на деньги. А бег-  
лых солдат надлежит в первый раз прогонять сквозь строй, во второй –   
ссылать на галеры.

В Сенате он бывал ежедневно, неукоснительно следя за работой своих помощников. Ему хотелось видеть в них деятельных, исправных работников, неустанно пекущихся о благе и могуществе государства.

Заточив до нужной остроты лезвие, он закрепил в особом захвате десятивершковый липовый чурбачок и вновь привычно надавил на педаль. Поднёс к липовой заготовке заточенное лезвие стамески: оно ут-  
кнулось в необработанную поверхность, и вниз виртуозно заскользила кудреватая липовая стружка.

Неказистый липовый чурбачок постепенно, мало-помалу, под острым резцом превращался в безукоризненный, гладкий цилиндрик. Большие, мозолистые руки царя бережно подавали стальное лезвие, и оно уверенно срезало тончайшие полоски древесины…

В токарню вошёл давний помощник Петра токарь Нартов. Государь почувствовал его приближение по колеблющемуся огоньку свечи.

– Доброе утро, Пётр Алексеич!

– Здорово, Андрей! – царь перестал давить на педаль, и станок замер. – Ты чего так рано поднялся?

Нартов улыбнулся:

– Вы меня опередили, государь…

Пётр вздохнул:

– Не спится чего-то… Который нынче час?

Токарь, он же отличный механик и часовой мастер, вынул из кармана часы-луковицу, привычно откинул серебряную крышку;

– Четверть седьмого, Пётр Алексеич…

Царь безотчётно проследил за его собранными движениями и сказал:

– Надо бы тебя заграницу отправить. В Германии или в Англии ты бы зело многое постиг…

Нартов – молодой, двадцатичетырёхлетний ремесленник-самоучка, толковый и любознательный, конечно, не думал отказываться. Он тут же приблизился с явным намерением поцеловать государю руку. Однако тот остановил его предупредительным жестом:

– Будет тебе! Ты же знаешь, я этого не люблю.

За дверью послышались шаги. Пётр насторожился:

– Кого там нелёгкая несёт?.. Видать, сон им точно не в радость…

В токарню вошли Головкин, светлейший князь и кабинет-секретарь Макаров со свечой в руке. Сухой, желчный канцлер, по-видимому, всю ночь не сомкнул глаз. А Меншиков, как всегда, выглядел бодрым и жизнерадостным, в роскошном парике и щеголеватом, дорогом кафтане.

– Гутен морген, Пётр Алексеич! – с улыбкой поприветствовал он царя.

Пётр небрежно кивнул в ответ, остановившись взглядом на бледном лице Головкина. Канцлер учтиво поклонился и запустил худую ладонь в карман довольно потёртого кафтана. Он отличался известной скупостью, над которой неизменно потешались при дворе.

– Что там у тебя? – заметив это стремительное движение, спросил его царь.

– Депеша, государь, от сенатора Толстого из Неаполя… – Головкин намеревался передать бумагу Петру, однако тот опередил его:

– Доложи, что там?.. Я послушаю…

Канцлер на всякий случай осторожно развернул письмо, а царь взял в руку подсвечник и протянул его Нартову:

– Посвети ему, Андрей.

Токарь поднёс огонь к плечу канцлера. Головкин чуть отстранился, оберегая свой засаленный парик, и резким голосом произнёс:

– Толстой пишет, что накрыл-таки наследника в королевском замке, и полюбовница его, девка Афросинья, тщится ему всемерную помощь оказать…То бишь Толстому…

Меншиков неожиданно рассмеялся.

– Ты чего? – обернулся к нему Пётр.

– Свояченица моя, мин херц, горбунья Варвара, как-то обмолвилась, что надобно бы к Алексею через девку эту и слуг его подобраться… – Данилыч хитровато подмигнул.

Государь мрачно отшутился:

– Недаром говорят – из осинового дышла тридцать три холопа вышло! Как есть семя крапивное… Любого продадут – им не привыкать.

Головкин искоса глянул на светлейшего, а тот мигом согнал с лица ухмылку. Вольно или невольно, но царь задел его лакейское прошлое. Пётр тоже заметил это и решил поправиться:

– Ладно. У всякого мастера свои ухватки. Ежели Толстой решил таким манером действовать – значит, так ему сподручней. Лишь бы толк из этого вышел! – он сурово оглядел своих помощников. – Уж больно долго, братцы мои, канитель эта тянется. А конца, похоже, не видать!..

Канцлер, светлейший князь, секретарь и даже механик-самоучка виновато понурили головы. Хотя, ежели вдуматься, никакой особой вины за ними не значилось. Пожалуй, лишь одного Меншикова следовало в кое-чём упрекнуть, однако же вид у князя отнюдь не был покаянным.   
В токарню заглянула царица:

– Батюшка, завтрак уже на столе! Чего доброго остынет… Ужо поспешайте!

Пётр обратился к свите:

– Пойдёмте, любезные. Закусим, что бог послал, и в Сенат поспешим. Дел неотложных зело много набралось – решать их надобно.

Он направился к двери, канцлер, князь и секретарь двинулись следом, лишь токарь остался на месте, со свечой в руке.

– А ты чего, Андрей? – окликнул его царь.

– Я, Пётр Алексеич, уже позавтракал, – ответил Нартов.

– Ну, молодец! Всё успел, – одобрил царь и прибавил. – Я начал было точить скалку для своей Катеринушки, ты не сочти за труд – доделай её за меня.

– Не тревожьтесь, Пётр Алексеич! – с готовностью отозвался Нартов. – Всё будет в лучшем виде!

И вся державная троица покинула помещение.

У вице-короля далёкой Италии графа Дауна состоялся любопытный разговор с секретарём.

– Скажите, Иоганн, – спросил граф у Вейнхарта, – наследник всё продолжает упорствовать? И какие меры предпринял Толстой?

Секретарь едва заметно улыбнулся:

– Алексей совершенно растерян. А Толстой, ваше сиятельство, начал атаку, если можно так выразиться, с тыла.

– Вот как? Вы имеете в виду…

– Его любовницу Евфросинью.

Эти щекочущие подробности, как видно, всерьёз заинтриговали вице-короля:

– Он решил подкупить её?

Секретарь не спешил с ответом.

– По всей видимости, Толстой этим не ограничился… – и, видя, что высокий патрон теряется в догадках, Вейнхарт добавил: – Русских, ваше сиятельство, нелегко понять, но, кажется, он её сильно напугал.

– Вот как? И чем же?

Секретарь явно озадачился. А вице-король с нетерпением ждал ответа, и тому пришлось пуститься в туманные, зыбкие предположения:

– Вероятно, он пригрозил забрать у неё ребёнка.

– Какого ребёнка? Разве он есть у неё?

– Ваше сиятельство, эти девица беременна, – смиренно сообщил собеседник.

– Беременна? – граф усмехнулся. – А впрочем, в этом нет ничего удивительного, – он игриво подмигнул помощнику, – значит, у царя Петра скоро появится внук или внучка!..

В кабинете воцарилась тишина. Неожиданная новость, только что прозвучавшая, требовала кое-какого осмысления. Вице-король небрежно поправил надушенный шейный платок, чуть сменил позу, переложив левую ногу на правую, и сказал глубокомысленно:

– Его величество писал мне, что у царя Петра и его нынешней супруги растёт малолетний наследник. Но он не ходит и даже не говорит…

Секретарь вздохнул и пожал плечами. Это могло означать всё что угодно – от искреннего, прямого сочувствия до полного, безграничного равнодушия.

– И наш император тем не менее полагает, что Пётр намерен передать престол своему младшему сыну… – граф пожал плечами.

– Который не ходит и не говорит?..

Высокий собеседник ответил глубоким вздохом. А секретарь, вопреки всему, позволил себе усомниться в происходящем:

– Но позвольте, ваше сиятельство, почему же тогда русский царь так бьётся и негодует по поводу бегства Алексея? Если он намерен передать престол младшему, то зачем же ему старший сын?

Произнося последние слова, Вейнхарт, к своему ужасу, понял, что перегнул палку. Никак не следовало задавать этот каверзный вопрос вельможному хозяину. Ответа на него вице-король наверняка не знал.

– И Толстой, к сожалению, этого не знает, – ловко вывернулся секретарь, дабы на лице патрона не появилось недовольной гримасы.

– Но всё-таки каков результат? К чему нам следует готовиться? – не моргнув глазом, настойчиво осведомился Даун.

– По всей вероятности, ваше сиятельство, – мигом откликнулся   
Вейнхарт, – наложница готова слушаться Толстого во всём.

– Это хорошо. Лишь бы всё это не затянулось надолго. Император не намерен ждать, – граф взглянул в лицо собеседника. – Надеюсь, она не собирается рожать у нас?

– Нет, ваше сиятельство. Эта женщина на четвёртом или пятом месяце. Время ещё есть.

Вице-король недовольно проворчал:

– Это у неё есть время, а у нас оно на исходе!

Секретарь сделал озабоченное лицо, согласно кивнув головой. Он не рискнул признаться патрону, что получил от Толстого взятку и сам, наедине, говорил с царевичем, убеждая его вернуться в Россию. Вице-король якобы намерен лишить наследника своего покровительства и, разумеется, крыши над головой. Алексей тогда расстроился вконец, униженно умоляя Вейнхарта дать ему немного времени на размышление.

Пауза явно затянулась. Граф Даун, перебирая в уме все возможные варианты дальнейших действий в отношении злосчастного беглеца, неожиданно спросил:

– Как вы думаете, Иоганн, принц очень дорожит своей любовницей?

– О да, ваше сиятельство! – убеждённо отозвался помощник.

– Она что – какая-то невероятная красавица?

Вейнхарт снисходительно усмехнулся:

– Что вы, ваше сиятельство! Я бы так не сказал. Это рыжеволосая, коренастая, с толстыми губами простолюдинка… Словом, обыкновенная служанка. Кстати, не очень опрятная.

Вице-король недоумённо пожал плечами:

– Странно. Когда я познакомился с наследником – он произвёл на меня впечатление умного, образованного… – Даун помолчал и прибавил: – пожалуй, несколько экзальтированного молодого человека.

Секретарь привычно выжидал, не спеша высказывать собственное мнение.

– Я знал его покойную жену – Шарлотту… – граф вздохнул. – Она не была красавицей, но эта… Как её имя?

– Евфросинья, – незамедлительно ввернул собеседник.

Даун покачал головой:

– Чем она его прельстила? Ума не приложу…

В дверях появился камер-лакей:

– Ваше сиятельство, русский посланник нижайше просит принять его!

Вице-король и секретарь озадаченно переглянулись.

– Ну вот, – граф нехотя оставил кресло, – надеюсь, что этот нежданный гость нам всё объяснит! Проси!

Лакей вышел и через минуту в просторной, богато обставленной приёмной вице-короля появился Пётр Андреевич Толстой...

Добившись аудиенции у вице-короля, Пётр Андреевич никак не рассчитывал на радушный приём. Более того, он был готов к тому, что его нежданный визит не принесёт желаемых результатов. Поэтому, войдя в приёмные покои властителя Италии, Толстой сделал глубокий поклон и выжидательно замер, всем своим видом показывая готовность к любому повороту событий.

Граф Даун и секретарь обменялись многозначительными взглядами.

– Мы готовы вас выслушать, господин посол, – строго официально заметил вице-король, давая понять о своих серьёзных намерениях.

Пётр Андреевич искоса глянул на секретаря. Вейнхарт, бдительный и неприступный, почтительно замер в двух шагах от своего патрона, всячески демонстрируя, что между ним и русским гостем нет ничего общего. Толстой этому не удивился, хотя всего лишь день назад он доверительно, по-приятельски беседовал с секретарём и тот получил от него двести гульденов.

– Мой государь, ваше сиятельство, пребывает в крайнем недоумении, – нарочито спокойно ответил Пётр Андреевич, – какие меры ему ещё необходимо предпринять, чтобы вернуть наследника?

Вице-король заметно растерялся:

– Меры?! О чём вы, господин посол?..

Толстой продолжал разыгрывать сдержанное негодование:

– Вероятно, ваше сиятельство, вашему императору мало русской армии, готовой вступить в Богемию? – он перевёл дыхание. – Возможно, вы ждёте визита нашего монарха? Он, между прочим, находится неподалёку.

Граф и секретарь встревоженно переглянулись.

– Но позвольте, господин посол, – вице-король старался говорить вполне искренне, – наш император не возражает против возвращения принца. По моему мнению, Алексей сам не желает этого.

Возразить тут было нечего, и Толстой не стал спорить. Теперь в его положении оставался единственный выход: упросить или принудить вице-короля применить силу в отношении ослушника. Только как?   
И граф словно подслушал его мысли.

– Ну, согласитесь, господин посол, мы же не вправе арестовать Алексея и выслать его с позором из страны? Он не совершил ничего противозаконного. Приехал к нам как обычный путешественник…

Пётр Андреевич едва сдержался, чтобы не напомнить высокому собеседнику, как царевича совсем недавно содержали в тайной тюрьме. Но посмотрел в неподвижное лицо секретаря, поймал в его глазах сочувствующие искорки и решился:

– А если вы, ваше сиятельство, попросту откажете ему в своём гостеприимстве?

Даун озадаченно умолк. Предложение «русского медведя» было заманчивым, однако графу не хотелось огласки. Громкие слухи о том, что царского наследника выдворили вон, как какого-то грязного бродягу, непременно пойдут в народ и, чего доброго, просочатся в европейские газеты…

– Нет, господин посол, на это мы не пойдём, – вице-король брезгливо поморщился, – это уж слишком.

Но, несмотря на отказ, Толстой почувствовал в тоне хозяина явное желание идти на уступки. Теперь ему следовало найти какой-то иной, более мягкий подход. И тут на помощь неожиданно пришёл секретарь.

– У принца, ваше сиятельство, – он скривился в улыбке, – тайно проживает любовница.

– Любовница? – Даун как будто услышал это впервые. – А кто она?

– Простая девка. Служанка, – вместо секретаря ответил Толстой, с трудом соображая, куда повернёт разговор.

– Ну, что же, – спокойно, со знанием дела, вице-король признал, – в этом нет ничего необычного. Кстати, у многих царствующих особ были подружки из служанок. Это просто его наложница.

Секретарь продолжал хитро улыбаться:

– Смею заметить, ваше сиятельство, что это – дама его сердца. Он будто бы намерен на ней жениться…

И пока продолжалась эта на первый взгляд пустая и никчёмная светская болтовня, Пётр Андреевич пытался понять, зачем пронырливый секретарь её затеял? И, наконец, уразумел.

– От Алексея она беременна, – разом вклинился он в пустопорожний разговор, – и наследник намерен на ней жениться.

– Да неужели?! – громкий возглас вице-короля прозвучал настолько открыто и нелицемерно, что даже секретарь поразился этому. Как будто бы час назад о преступной связи Алексея и его намерении заключить брак с наложницей не было и речи!

Пётр Андреевич тяжело вздохнул и озабоченно нахмурился. Граф выжидательно взглянул на секретаря, а тот прозрачно намекнул:

– Вероятно, принц был лишён отцовской и материнской любви.   
И его первый брак, по слухам, оказался несчастлив. Зато теперь…

В силу своего положения Толстой не мог, вернее, не имел права пускаться во всякие чувственные суждения, касающиеся царственных особ. Однако намёк лукавого секретаря он оценил вполне.

– У нас говорят: любовь зла – полюбишь и козла! – Пётр Андреевич сокрушённо развёл руками.

Но его собеседники, почти буквально, всё приняли к сведению.

– Козла?! – удивился вице-король, – О чём вы, господин посол?.. Надеюсь, вы не имеете в виду скотоложника?..

– Нет-нет! Боже упаси! – Толстой поискал слова. – Русские так говорят о пустом, ничтожном человеке.

– Этот человек, – подсказал Вейнхарт, – та женщина? Несчастная наложница?

– Именно. Но для наследника она – дороже самой жизни! – Толстой безнадёжно махнул рукой.

Собеседники понимающе переглянулись. Пётр Андреевич успел перехватить чужие взгляды и кое-что сообразить. Выждав необходимую паузу, он глубокомысленно заметил:

– Вот ежели бы так случилось, что эту злокозненную девку от наследника довелось убрать подальше…

– Убрать – и что тогда? – подхватил хозяин.

– Тогда Алексея можно было бы в бараний рог скрутить.

– В бараний рог?! – вице-король усмехнулся. – Вас трудно понять, господин посол. То вы говорите о козле, теперь вспоминаете барана…

Секретарь Вейнхарт тоже осторожно улыбнулся:

– Наш гость, по всей видимости, твёрдо убеждён, что любовницу принца можно использовать в качестве приманки.

Толстой согласно кивнул.

– Или той самой верёвки, на которой ведут строптивых животных. И баранов в том числе… – на последних словах секретарь значительно умолк.

И все присутствующие, не сговариваясь, поняли, что окончательное решение теперь зависит от вице-короля. Он медленно приблизился к огромному окну, безотчётно оглядел просторный, ухоженный двор, словно желая найти там искомый, нужный ответ. Толстой и Вейнхарт выжидательно переглянулись. Во взгляде секретаря Пётр Андреевич сумел прочесть, что тот всецело на его стороне.

– Если царевичу пригрозить, что его любовницу отнимут, – негромко, в качестве невольной подсказки, предложил Толстой, догадываясь, что вице-королю никак не хочется брать ответственность на себя, – тогда Алексей выполнит всё...

– А кто будет осуществлять эти угрозы? – граф произнёс это, не поворачивая головы.

И не успел Пётр Андреевич открыть рта, как прыткий секретарь, не колеблясь, заверил:

– Если ваше сиятельство позволит – я готов говорить с принцем.

– От моего имени?

– Как вам будет угодно.

В пышной приёмной воцарилась долгая, сосредоточенная тишина…

1717 год, последние три месяца которого государь провёл в своём любимом «парадизе», мало чем отличался от предыдущих. Слава богу, что в нём не случилось никаких переломных, потрясающих событий, способных круто изменить ход европейской истории. Пожалуй, только для Петра, в связи с побегом наследника, год этот имел судьбоносное значение. Поэтому он с нетерпением и тревогой ждал любых известий, присылаемых Толстым.

И в присутствии Александра Даниловича Меншикова и Гаврилы Ивановича Головкина Пётр горячо обсуждал их.

– Толстой пишет, что с помощью вице-короля ему удалось-таки пристращать Алексея, – царь расхаживал по кабинету, стуча подошвами разношенных башмаков. – Надо думать, тот уже выбирается, с божьей помощью, из Италии.

– А Толстой что? – полюбопытствовал Меншиков, ценя подробности.

– И Толстой едет вместе с ним. А девку-чухонку он отправил другой дорогой, под охраной наших верных людей.

Головкин, не отличавшийся быстрым, въедливым умом, простодушно спросил:

– Как ему удалось преклонить на свою сторону самого вице-короля?

– Кому? Толстому? – Пётр остановился посредине комнаты.

– Должно быть, он пригрозил австрийцам, что армия наша вот-вот границу перейдёт! – догадался сообразительный Меншиков.

Царь подумал и ответил:

– Армия армией, однако же сынок мой зело строптивым оказался, и бедняге Толстому пришлось любые средства в ход пущать, – он лукаво сощурился. – Чухонка-то шибко важной приманкой явилась.

– Эта девка? Но как?! – не понял канцлер.

Светлейший князь ухмыльнулся:

– А ты, Гаврила Иваныч, неужто не знаешь, что слаще бабы токмо один мёд слывёт? – он игриво подмигнул государю. – Хотя для кого как…

Худосочный, мрачноватый Головкин пожал угловатыми плечами. Пётр сокрушённо вздохнул:

– Кто бы мог подумать, что ради этой дворовой девки он готов на любое преступление пойти?! Это мой-то Алёшка!.. Тихоня заклятый…

В кабинете повисло молчание, и царь вновь заходил из угла в угол. Канцлер с князем переглянулись. Историю сбежавшего наследника каждый переживал и обдумывал по-своему. Головкин прикидывал в уме возможные последствия грядущих событий и своё участие в них. А Меншиков трезво просчитывал количество голов, должных слететь с повинных плеч, если царевич вскоре возвратится домой. Голова самого князя наверняка останется на месте.

– Кикина арестовали? – словно прочитав его тайные мысли, сурово осведомился царь.

– Ещё месяц назад, Пётр Алексеич. Также ростовского епископа Досифея, генерал-майора Глебова и князя Вяземского в оборот взяли, –   
немедля ответил Меншиков, назвав всех ближайших сообщников строптивого наследника.

– А что с Авдотьей? – хмуро кивнул Пётр, вспомнив о своей бывшей жене Евдокии.

– Её наконец-таки постригут и отправят в Ладогу, в монастырь тамошний, – поддакнул князю Головкин, дабы доказать своё рвение и осведомлённость.

– Авдотьин-то любовник – майор Глебов? – зрачки у царя сузились.

– Точно так, мин херц, – ухмыльнулся Меншиков.

Государь резко остановился, в упор глядя круглыми карими глазами на своих ближайших помощников:

– Мы с вами и не заметили, как за спинами нашими гнездо осиное буйно развелось! – он зло махнул рукой. – Сколь добра ни делай, сколь голов ни руби, сколь крамолу ни души – она, как плесень, изо всех углов прёт! Хрен удержишь!

Канцлер и светлейший князь виновато потупились. Они готовы были признать, что и сами являлись пособниками той самой «крамолы», имея в виду своё тесное общение с наследником. Ведь каждый помнил и знал, что последующим правителем России, после кончины Петра, станет Алексей. А кому по доброй воле захочется портить отношения с будущим самодержцем?

Но государь беспокоился о другом:

– Пока мы со шведами насмерть воевали, да Россию-матушку в Европу на аркане выводили, науку да просвещение в народе укореняли, вороги наши бородатые тоже не дремали! – царь погрозил кулаком своим закоренелым, невидимым противникам. – Они свои щупальца да жала всюду запустили! Искали, где над нами верх взять…

Собеседники не возражали. Оба понимали, что царь говорит правду. Общее недовольство его личностью и действиями копилось не только в простом народе, но и среди высшей чиновничьей и родовитой знати. Никому не давая даже малейшей поблажки, заставляя всякого отважно воевать, постигать и внедрять новое, беззаветно служить и ревностно трудиться, он добивался этого на пределе сил и возможностей. А людям хотелось мира и покоя...

– Но ничего, – Пётр мстительно сжал скулы, – крамолу мы с корнем вырвем! Иначе – либо мы её, либо она нас! А коли она верх возьмёт –   
не видать России светлых дней! Уж поверьте мне!

Меншиков и Головкин, не сговариваясь, оба вспомнили грозный и кровавый 1698 год, когда был подавлен знаменитый стрелецкий бунт и летели буйные головы грозных мятежников. Светлейший исподтишка взглянул на свои руки, которые напрочь снесли два десятка стрелецких голов. Теперь он едва ли бы отважился на подобную удаль…

Весь долгий и нелёгкий путь от Неаполя до границ России Пётр Андреевич старался заранее прикинуть основательно. Ведь не только непогода и тяготы дорожные могли стать коварными, неодолимыми препятствиями, но и всякие нежданные сюрпризы. К примеру, внезапная болезнь, нападение грабителей или военные действия в самых неподходящих местах.

Царевич Алексей, окончательно сломленный хитроумными приёмами Толстого, уже не сопротивлялся и был готов покорно следовать за ним. Единственное, что беспокоило несчастного наследника – судьба его дорогой Евфросиньи. Время от времени он приставал с расспросами к своему неумолимому надзирателю: какой дорогой она поедет? Уже выехала или нет? Удобен ли экипаж? Не растрясёт ли её, бедную? Ведь она тяжела, то есть беременна…

Толстой, искоса поглядывая на царевича, ядовито размышлял: «Горе, горюшко ты луковое! Рассказать бы тебе, незадачливому, что поведала мне твоя зазноба! Как она тебя кляла и поносила!.. Ни одного доброго, ласкового слова… Одни укоризны и беды злобно призывала на твою бесталанную головушку!»

И всё-таки старик сдержался. Но не затем, чтобы пощадить Алексея, не желая окончательно добить его, а всего лишь оставляя наследнику слабую, крохотную надежду. Пусть, мол, несчастный слепец тешит себя шальной мыслью, что, вернувшись на родину, он тут же женится на своей разлюбезной. Толстой всерьёз уверял царевича, будто бы Пётр поклялся устроить ему свадьбу. Как ни странно, Алексей этому верил…

Из Неаполя наследник в сопровождении Толстого и Румянцева вы-  
ехал в середине октября. Вице-король выделил им дорожные экипажи и хотел снарядить целый эскорт офицеров для сопровождения. Пётр Андреевич за кареты поблагодарил, но от эскорта решительно отказался, заявив, что обойдётся своими силами.

На самом деле он боялся какого-либо подвоха со стороны чужого охранения. Вдруг офицеры получили подробные инструкции от вице-короля и при первой возможности арестуют их? Или Алексей неожиданно запросит о помощи?..

При его неустойчивом, мятущемся характере надеяться на гладкое, беззаботное путешествие, увы, никак не представлялось возможным. И недужный, страдающий многими болезнями, семидесятитрёхлетний старик был вынужден сжать в единый кулак ум, волю и энергию, чтобы ни на минуту не упускать из виду своего подопечного. В глубине души он называл его «зверем»…

Именуя так царевича, Пётр Андреевич вовсе не считал того лютым хищником. Скорее всего, лишь определяя при нём свою роль. Ведь и в самом деле – он обложил наследника со всех сторон, как медведя в берлоге.

Без особых приключений они минули Рим, Флоренцию, Болонью, Падую, Венецию… Толстой охотно вспоминал, как два десятка лет назад он уже посещал все эти города. Алексей, сидя в карете напротив, с интересом слушал старика. Сам он, к сожалению, вихрем проскочил все славные места, убегая из австрийской крепости и спасаясь от агентов отца. А Толстой рассказывал всё обстоятельно, красочно и подробно.

Сильнее всего его поразила сказочная Венеция. Уроженцу холодной, равнинной страны было удивительно наблюдать, как вместо улиц и переулков город разделяет великое множество каналов, через которые перекинуты удобные, ажурные мосты. Под ними скользят лёгкие, изящные, с обоюдозагнутым носом и кормой ладьи, именуемые «гондолами». А в них сидят пышно одетые господа и дамы, звучит услаждающая слух мелодия лютни…

Пётр Андреевич побывал в Венеции летом и мог увидеть и узнать массу интересных вещей. Кроме великолепных дворцов, каналов и мостов дотошный московит близко познакомился с тамошними жителями. И многое почерпнул из чужих обычаев и нравов.

– Подле самого моря, – неспешно рассказывал он, – стоит собор белокаменный святого Марка, весь искусно изукрашенный, и большая площадь перед ним. А на той площади жители затевают «машкарады», – Толстой приложил ладони к лицу, давая понять, что на нём –   
маска.

Но царевич был довольно образован и знал, что это такое.

– В Голландии и Австрии машкарады тоже часто затевают, – охотно поддакнул Алексей.

Толстой хитровато усмехнулся:

– Затевают-то они затевают, только непотребств таких, поди-ка, не творят!.. Ведут себя весьма пристойно, как добрым людям следует.

– Каких непотребств?

Старик укоризненно покачал головой:

– Бабы ихние, венецианки – молодые девки и постарше, надевают эти «машкеры», гуляют в них по всей площади, берут за руки иноземцев приезжих и забавляются с ними безо всякого стыда!.. – он говорил всё это отнюдь не ради пустой болтовни, а стараясь отвлечь наследника от беспрестанных мыслей о Евфросинье…

Алексей с дороги писал своей разлюбезной проникновенные письма: «Афросиньюшка, дорогою себя береги, поезжай не спеша, ведь в Тирольских горах дорога камениста. А где хочешь – отдыхай, по скольку дней захочешь. Не следи за расходом денежным, пускай много издержишь, но мне твоё здоровье дороже».

Незадачливый наследник, кстати, так и не узнал, что его зазноба, следовавшая по тому же пути в Россию, но месяц спустя, прожила в Венеции несколько счастливых дней. Город ей очень понравился. Она не только осмотрела его каналы и дворцы, но также посетила торговые ряды, где купила тринадцать локтей парчи, золотой крест и серьги, кольцо с рубином и побывала на концерте. Однако пожалела, что не увидела знаменитые «машкарады» …

Алексей слушал молча, изредка посматривая в окно. Моросил мелкий, заунывный дождь, которому, казалось, не будет конца. Дорога   
раскисла, лошади трусили усталой рысью, прядая мокрыми ушами и потряхивая набрякшей гривой. По всему было заметно, что им до жути опостылело влачить размокший, потяжелевший экипаж и даже жить на этом свете.

Возница, жалко скрючившись на облучке, плотно закутался в какое-то подобие башлыка, соединённого с накидкой, укрывшей его целиком. И вожжи в красных от холода руках время от времени похлопывали по крупам лошадей, и брызги летели во все стороны…

– А вот в Неаполе, – продолжал рассуждать Толстой, – блудный грех осуждают весьма и говорить о нём даже стыдятся, не токмо что делать...

Царевич покорно кивал головой, однако думал уже о своём. Примирившись с бесславным возвращением на родину, Алексей в душе готовился к самому худшему. Давая устную и письменную клятву в том, что он окончательно отрекается от престола и станет жить жизнью обычного, простого человека, наследник опасался одного: его суровый, непреклонный родитель заставит непутёвого сына постричься в монахи. И тогда прощай всё – и женитьба на Евфросинье, и тихие семейные радости!..

Будучи неглупым человеком, Алексей понимал отца. Вся российская жизнь была устроена так, что в ней не было места для рядового, ни в какие разряды не вписанного человека. Более того, если ты рождён князем, дворянином, купцом, крестьянином либо слугой – то судьба твоя уже предрешена. Ты поневоле станешь тем, кем был твой родитель.

Алексей родился царским сыном, как и его отец. Но кроме случая рождения у Петра была натура властелина. Он не мог стать никем, кроме творца и преобразователя земли русской. И был готов положить на это все силы и самоё жизнь!..

А вот Алексей оказался случайной обмолвкой. Он это тоже понимал. Зато чётко знал и помнил, что вблизи него и дальше – в самых глубинах простого, чёрного люда – сотни, а может, многие тысячи страждущих, обездоленных, мятущихся душ помнят о нём и ждут своего избавителя. Как будто он сможет сотворить это, заняв место всесильного отца…

– Вот женский народ в Риме, – гнул своё Толстой, – больно стыдлив, блудный грех смертным грехом считает, великим позором и страхом к нему живёт. Тем и славен…

Капитан Румянцев, уткнувшись головой в угол кареты, мирно дремал под стариковскую болтовню. Мерно трусили лошади. Кучер, сиротливо нахохлившись, зорко высматривал ближайшую станцию. А до столицы Австрии, славной Вены, было более семисот вёрст. Там находился сам император, с которым Алексей пожелал увидеться.

И глядя на то, что наследник вёл себя на редкость смиренно и покорно, Пётр Андреевич немного расслабился и тоже задремал. Но готов был мигом пробудиться от любого случайного, постороннего шума…

Пётр приехал в Москву под новый, 1718 год. Никаких торжеств и праздничных пиршеств на сей раз не затевалось. Государь, не отдыхая, сразу принялся за дело. Посетил несколько фабрик – полотняных, бумажных, суконных и кожевенных. Его прежде всего интересовали те, где ткалась парусина для судов.

Хотя был выпущен манифест о начале мирных переговоров со шведами, однако морской флот – любимое детище царя – всё рос и креп. Не только военным, но и торговым кораблям требовались доброе парусное вооружение.

На казённой фабрике в Москве трудились больше тысячи рабочих. К приезду государя всё-таки подготовились: убрали лишний хлам и приодели ткачей. Особых помещений, именуемых цехами, тогда не строили. Петра препроводили в огромную избу с множеством окон, в которой стояли высокие и длинные сбитые из дерева ткацкие станы, так называемые кросны. Внутри каждого находилась большая рама, а на ней протянулись, одна рядом с другой, великое множество льняных нитей.

Ткачи находились тут же, с челноками в проворных руках. На челноке была густо намотана та же нить, и ею следовало перевить нити продольные, накрепко уплотнив всё специальным прижимом. Труд был монотонным, изнурительным и нескончаемым. Чтобы выткать три аршина холста, следовало просидеть за станком несколько дней.

Государь, остановившись возле молодого ткача, несколько минут следил, как тот старательно и неуклюже протаскивает челнок между льняной основы, будто громоздкая посудина отчаянно ныряет в сонную, гладкую реку и потом с трудом выныривает на поверхность…

– Как тебя кличут, парень? – по-отечески ласково обратился к нему государь.

– Петрухой, царь-батюшка… – смущённо отозвался тот.

Царская свита игриво переглянулась.

– Тёзки мы, значит, – государь сделал знак рукой. – А ну-ка, Петруха, освободи царю место, – он снял тёплый кафтан на меху и сунул его в услужливо протянутые руки управляющего.

Малый суетливо вскочил с громоздкого табурета, едва не опрокинув его, управляющий мгновенно обмахнул сиденье платком, а Пётр привычно опустился на освободившееся место. Взял у работника челнок и с завидной ловкостью стал орудовать им. Челнок как живой летал в царских руках.

– Легче надо с ним управляться, – наставлял он парня, – тут не сила нужна, а проворство да верный глаз. И ещё надобно терпение… – под мозолистыми, но гибкими пальцами царя полотно выходило на удивление ровным и гладким.

Управляющий и чиновники из свиты восхищённо качали головами. И в самом деле, здесь стоило чему восторгаться. Не одна только лесть принуждала всех умилённо вздыхать и улыбаться.

– Работников надобно учить как следует, – Пётр, решительно прервав наглядный урок, быстро встал. – Держи, тёзка, – он сунул челнок парню, – как тебя кормят?

– Ничего. Не жалуюсь, царь-батюшка, – покорно ответил тот.

Управляющий мигом подхватил:

– Муку, крупу, соль и солдатский паёк они получают, Пётр Алексеич, сполна.

– Добро, – Пётр надел кафтан, угодливо поданный управляющим, и поморщился. – Ты чем сапоги-то мажешь?

– Дёгтем, Пётр Алексеич, – быстро ответил тот.

Государь сердито нахмурился:

– Указы мои вы читаете? Вижу, что нет.

Чиновники встревоженно переглянулись.

– Я три года назад писал, – царь возвысил голос, – кожа, которую употребляют на обувь, весьма плоха, ибо делается с дёгтем, – он показал на сапоги управляющего, – и от воды, как каша, расползается.

Половина чиновников с опаской взглянула на свои ноги.

– Надо делать её с ворваньим жиром, для чего я пригласил мастеров из Ревеля, вам на пользу, а себе, грешный, видать, на мороку! – Пётр стремительно направился к выходу.

Свита кинулась за ним. Царский гнев их напугал, но большинство помнило, что государь, слава богу, отходчив и долго зла не держит.   
А Петру частенько хотелось примерно наказать ослушников, если бы их не было так много! Казалось бы, та же кожа – если сапоги шить из той, какую делают у себя немцы, – она дольше носится и воды не пропускает. Три года царь указами и действенными мерами заставлял кожевников работать по-новому – и тщетно!

А военная амуниция? Разве светлейший князь Меншиков гнилое сукно не поставлял? И это в то время, когда ещё не виделось конца войне со шведами…

Но, посетив ещё несколько фабрик, Пётр распорядился: тех, кто не выполняет его указы, подвергнуть конфискации имущества и сослать на галеры. А для строительства Петербурга набрать плотников, столяров, каменщиков, кузнецов и чернорабочих в достаточном количестве.

Между тем в народе продолжалось глухое, недовольное брожение. Простой люд не понимал и не принимал все новшества и помыслы царя. Зачем и почему он без конца усложняет и без того нелёгкую жизнь? Старики вспоминали его отца – Алексея Михайловича. Вот был государь всем на утешение! При нём всякий мог найти себе укромное место, чтобы его лишний раз не шпыняли и не тревожили.

А этот «кукуйский» выкормыш никому не даёт покоя и спуску! Любого норовит куда-нибудь пристроить – в кузню, в шахту или на галеры. Даже жалких нищих – людей, питающихся подаянием, живущих светлым Христовым именем, – называет «тунеядцами» и велит им заниматься полезным делом.

При Тишайшем вся нищая братия была весьма уважаема и пользовалась всеобщим покровительством. Теперь они вынуждены от всех скрываться, а в новой столице – Петербурге – человека, просившего милостыню, надлежит немедленно арестовать, допросить – откуда он и как давно побирается. Потом его щедро наказывают батогами и выдворяют на родину. При повторной поимке бьют кнутом на площади и отправляют на галеры. Женщин-нищенок посылают на суконную фабрику, а детей отдают учиться ремеслу.

А ежели бродяга оказывается крепостным какого-либо помещика, то по расследовании помещик платит за каждого довольно большой штраф. Это тоже не радует никого – ни виновника, ни его владельца. И все эти жёсткие меры, конечно же, не прибавляют Петру любви и уважения.

Теплилась слабая надежда, что вот умрёт, сгинет или погибнет от чьей-то руки ненавистный самодержец – и с облегчением вздохнёт вся Россия!..

Но Пётр, несмотря на всеобщую нелюбовь и озлобление, не окружал себя стеной телохранителей, не скрывался и не прятался, а всюду ездил и ходил, часто с двумя-тремя помощниками и был открыт для любого человека. Мог запросто прийти в гости к плотнику или боцману, выпить с ним чарку водки и закусить пирогом с морковью.

Более терпеливые и проницательные ждали одного-единственного часа – наконец-таки надорвётся неуёмный властелин и на смену ему придёт кроткий, милостивый, желанный избавитель – царевич Алексей. И с ним возвратится в усталую, загнанную страну мир и покой…

Ожидая возвращения наследника, Пётр не забывал и не оставлял важных государственных дел. Первопрестольная – город, принесший царю столько бед и злоключений, – жила скрытой, потаённой жизнью. Как и прежде, в его храмах и монастырях кучковались ревнители косной старины, «большие бороды», люто ненавидевшие царя-святотатца. И возлагавшие все надежды на благочестивого царевича, должного, по их несокрушимому убеждению, отменить все неправедные, богомерз-  
кие указы отца. Московский люд с опасением и тревогой следил за тайной борьбой в коридорах власти.

Слухи о бегстве Алексея за границу, потом о его насильственном или добровольном возвращении какими-то неведомыми путями проникали в народ. Пётр об этом знал и старался кое-что упредить. Там же, в Москве, он издал несколько указов, и среди них – указ о доносительстве. В нём было три главных пункта: об умысле на здоровье государя, об измене и бунте, о хищениях казны.

По первым двум осведомителям надлежало явиться ко дворцу Его Величества и лично передать донос. А по третьему – в Приказ тайных дел. Виновных в умысле на жизнь царя наказывали безжалостно: рвали ноздри и ссылали на галеры, так же поступали и с зачинщиками бунта. Государь не столько беспокоился о своей жизни и здоровье, сколько о судьбе России. Он был почти уверен, что с его внезапной кончиной придёт крах всем его неимоверным трудам и свершениям.

Фигура злосчастного Алексея, ставшего по воле судьбы главным могильщиком отцовских реформ, неотступно, упорно маячила перед его мысленным взором. Петру доносили: чем ближе к русским границам движется карета с наследником, тем шумней и восторженней принимают её простые люди. Часто разносятся клики: «Слава царевичу! Благослови, Боже, будущего государя нашего!»

Понятно, что эти дикие восторги и благостные ожидания радости у Петра не вызывали. Однако же он не ударился в панику и готовился противостоять всему. Ближайшие его помощники: Меншиков, Головкин, Шафиров и Шереметев, съехавшись к государю в Кремль, держали совет. Пётр, совсем не жаловавший Москву своей любовью, всё-таки наиболее важные, судьбоносные решения предпочитал принимать в старой столице. Возможно, идя на уступки самым дремучим ретроградам.

А ведь главный символ Москвы – старый Кремль, средоточие всех его святынь, мощи и великолепия, – выглядел не лучшим образом. После пожара в июне 1701 года в нём сгорел Теремный дворец, Оружейная палата, царицыны палаты, многие церкви, даже Успенский собор был повреждён огнём...

И с тех пор, особенно с началом нескончаемой Северной войны, в нём не производилось никаких восстановительных работ, денег на это попросту не было. Во всех кремлёвских дворцах царило запустение, и Верхняя палата, в которой расположился государь вместе с сановниками, имела весьма обветшалый вид.

Старый фельдмаршал Шереметев, бывавший здесь ещё во времена покойного царя Фёдора Алексеевича, с грустью оглядывал обшарпанные   
стены, когда-то обитые посеребрённой кожей, а ныне вытертые до дыр, широкие скамьи, некогда затянутые разноцветным бархатом, а теперь ободранные целиком. Высокое, дорогое кресло в углу под образами, украшенное искусной резьбой и позолотой, на котором обычно восседал хозяин, даже оно треснуло и облупилось…

Но государю, как видно, не было никакого дела до этой вопиющей разрухи и обнищания. Он по обыкновению ходил из угла в угол, зорко поглядывал на своих помощников, не уставая их вразумлять:

– Сие уж кому-кому, а вам всем давно ведомо – мой никудышный наследник к делам государства непригоден. – Пётр на секунду замер, потом резко махнул рукой. – Терпеть его далее я не намерен, особливо после того, что он, негодник, сотворил!

Вельможи молчали. Случайно или намеренно так получилось, но вся эта четвёрка состояла из людей, разных по происхождению и влиянию. Шереметев и Головкин имели солидную родословную и могли на равных соперничать со старой знатью бывшей столицы, а Меншиков и Шафиров, напротив, выбились из самых низов, особенно светлейший князь. Вопреки всем заслугам и титулам, их положение едва ли можно было считать незыблемым. А в случае какого-либо возврата к прежним, старомосковским временам участь обоих станет точно прискорбной…

Головкин осторожно заметил:

– Но будем надеяться, Пётр Алексеич, что с божьей помощью Алексей Петрович всё-таки остепенится, – он истово осенил себя крестом.

Государь придирчиво оглядел своих помощников. На тучном лице Шереметева застыла благостная, милосердная улыбка. Фельдмаршал явно поддерживал канцлера. Светлейший прятал под густыми бровями пронзительные голубые глаза, занимая выжидательную позицию. И только юркий, толстенький Шафиров не мог скрыть очевидный протест:

– Как в народе-то, Гаврила Иваныч, говорят – на Бога надейся, а сам не плошай! – он искоса взглянул на своего начальника и повернулся к царю. – Надо бы, Пётр Алексеич, главной опоры его лишить, дабы он, чего доброго, в голову себе мыслей лишних не забрал.

Сколь туманна ни была фраза, все присутствующие догадались, о чём идёт речь. Подканцлер имел в виду привычное окружение Алексея. Люди, плотно опекающие наследника, наверняка ведь добровольно не сдадутся и будут искать малейший повод, чтобы затеять смуту в стране. Слава богу, что давным-давно почила царевна Софья, но затаились её верные приспешники, и с годами только умножаются их мятежные ряды…

– Наследства я его лишу, – твёрдо заявил Пётр, – а далее что? Упечь его в монастырь? А в который? Ну-ка, подскажите.

– Дак он, мин херц, жениться вскоре намерен, – вступил в разговор Меншиков. – А коли станет монахом – прощай тогда его чухонка!

Шереметев рискнул взять царевича под защиту:

– И пущай себе женится! Глядишь, в заботах семейных с головой увязнет! Не до праздномыслия ему станет.

Государь понимал, что помощники не могли разделять целиком все его неустанные думы о будущем России. Каждый относился к ним по-своему. Осторожный, осмотрительный канцлер Головкин так глубоко задумываться вовсе не привык и не хотел. Старый боевой товарищ царя Шереметев по доброте душевной видел всё в розовых тонах. Бывший денщик, а ныне второй человек в государстве Меншиков искал во всём личную выгоду и был готов к любому повороту событий. И лишь маленький, толстенький Шафиров говорил о будущем нелицеприятно и прямо.

– Что скажешь, Пётр Павлович, – обратился к нему царь, – следует мне постричь наследника в иноки? Не переусердствую ли я?

Тот ответил без колебаний:

– Это смотря по обстоятельствам, Пётр Алексеич.

Три других сановника разом подумали, что хитрый подканцлер ловко вывернулся. И только царь так не считал:

– А ежели все обстоятельства выйдут боком? Что тогда?

– Тогда следует, – чётко ответил маленький человек.

Пётр перестал вышагивать по комнате, грузно опустившись в старое кресло. Когда-то, восемнадцать лет назад, ему казалось, что, затеяв войну со шведами, он переживал главные, судьбоносные минуты своей жизни. А потом была славная Полтавская битва и те же судьбоносные мгновения…

Затем последовал провальный Прутский поход, турецкое окружение, возможный плен и неминуемый крах всего достигнутого. Но, слава богу, всё обошлось. А что теперь?.. Неужто его вновь упрямо настигли едва переносимые, жестокие удары судьбы…

Так что же ныне? Ведь он не хотел горькой доли своему нелюбимому сыну. Будь Алексей покрепче характером, стань наследник прямым, яростным, непримиримым противником отца – Пётр наверняка уважал бы его. Как уважал своего врага – Карла XII.

Но сын вырос лживым, увёртливым и бесхребетным. Охотно подпадал под чужое, тлетворное влияние и становился жалкой игрушкой в ловких, своекорыстных руках. Многие из окружения государя то ли не видели, то ли не хотели этого видеть.

А Пётр смертельно опасался одного: когда-нибудь его злосчастный первенец сделается послушным орудием и кровавым знаменем буйного, жестокого, безрассудного мятежа. Как беглый инок Гришка Отрепьев, ставший главою польских захватчиков. И полетят в бездну, в тартарары все тяжкие, неусыпные труды, ведущие к славе и благу Отечества!..

Сановники дружно молчали. Каждый из них, в пределах своего ума и воображения, пытался нарисовать себе, о чём думает царь. Меншиков, ближе и лучше всех знавший Петра, готов был поклясться, что государь уже принял решение и бедному наследнику ничего хорошего не светит...

В передней послышались быстрые шаги. Все насторожились. Денщик царя Полубояринов вырос на пороге:

– Государь, Алексея Петровича привезли!

Пётр быстро встал, и разом поднялись всё высшие сановники…

Только возвращением и наказанием бежавшего наследника государь решил не ограничиваться, а поставил себе целью найти и вырвать с корнем все тайные ростки крамолы. Для чего была создана Тайная розыскных дел канцелярия. Возглавить её царь поручил Петру Андреевичу Толстому.

А кому ещё, как не этому умному, ловкому, оборотистому человеку заниматься поиском и уничтожением явных и скрытых врагов? Пётр Андреевич принялся за дело с толком и размахом.

Первой его жертвой стал, разумеется, Алексей. На первый взгляд с провинившимся царевичем всё было понятно, но лишь на первый взгляд. Будь на месте Толстого не в меру ретивый и угодливый исполнитель, он бы, ничтоже сумняшеся, подверг виновника жесточайшему допросу и скоренько подвёл бы его под суровое наказание.

Но зная своенравную, неукротимую натуру царя, Пётр Андреевич не торопился. Он не только занимался расследованием, но и внимательно наблюдал за настроением государя, стараясь ничего не упустить из виду. А Пётр вёл себя по-разному. Встретившись с ослушником-сыном в Кремле, он поначалу вознамерился простить его. И опять же Толстой настоятельно советовал Алексею пасть перед отцом ниц и умолять о прощении…

Войдя в палату, где находился государь и его ближайшие сановники, царевич, без шпаги и парика, в помятом кафтане и нечищеных сапогах, опустился перед ним на колени, дрожащим, срывающимся голосом умоляя простить его.

Картина получилась поистине библейская. Пётр, любя некоторую театральность, торжественно приблизился к блудному сыну, наклонился и поцеловал его в опущенную, повинную голову. Шереметев и Головкин прослезились. Толстой и Шафиров смущённо потупились.

Один лишь Меншиков не изменился в лице. Светлейший словно предчувствовал, что этой умилительной сценой дело не ограничится. На этом библейские страсти закончились.

Стоя на коленях, Алексей протянул отцу бумагу. Это было покаянное письмо, в котором он признавал себя недостойным сыном, виновным в попытке измены отечеству и не должным быть наследником престола. Пётр бумагу принял, помог царевичу подняться и, в свой черёд, объ-  
явил ему, что от престола тот отрешён.

Наследник принял всё как должное, но оказалось, что чаша позора ещё не испита до самого дна. Далее полагалось подкрепить слова царя обязательной присягой и церковным уставом, ибо деяние это и мирское, и духовное. Все сановники настороженно переглянулись: в России подобное событие случалось впервые!

Конечно, наследников престола безжалостно свергали и даже убивали, многие помнили историю несчастного царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Кстати, и самого Петра, бывшего десятилетним мальчишкой, тоже когда-то низвергли с трона. Но чтобы сам наследник, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, отказался от притязаний на царство – такого страна ещё не знала!

– Как вам будет угодно, батюшка! Я на всё согласен, – покорно ответил блудный сын.

– Добро, – голос царя прозвучал веско и удовлетворённо, – приводи себя в порядок, а вскорости мы с тобой все наши тяжбы, как должно, решим. Под присягой и в храме Божьем! – он широко перекрестился.

Алексей не поднимал головы. Пётр подал знак капитану Румянцеву, неотступно надзиравшему за наследником. Тот приблизился к Алексею и тихо шепнул ему что-то на ухо. Бедный царевич, ни на кого не глядя, неуклюже повернулся и, как журавль, мерно ступая, зашагал вслед за бравым капитаном.

Все присутствующие, включая отца, проводили его внимательными взглядами. В глазах большинства, кроме Меншикова, сквозила жалость и сочувствие. Даже государь на мгновение тоже поддался общему настрою, сокрушённо сдвинул густые каштановые брови, выразительно сжав губы с полоской кошачьих усов. Но стоило нескладной фигуре наследника исчезнуть из виду, Пётр обернулся к Толстому и оживлённо воскликнул:

– Скажи-ка нам, Пётр Андреич, как тебе удалось императора обвесть вокруг пальца и все козни его пресечь?!. Лихо ж ты это проделал!..

Сановники тут же повернулись к заслуженному триумфатору. И в самом деле, этот битый, тёртый семидесятидвухлетний интриган был достоин всяческого восхищения. Любой из присутствующих, даже неуёмный, блистательный Меншиков, наверняка не смог бы состязаться с неказистым, полноватым, небольшого роста стариком. Светлейший умел добиваться всего безудержным напором, дерзостью, нахрапом, а Толстой брал противника хитростью, расчётом, измором.

– Ну, рассказывай! – настаивал царь и первый опустился в кресло, подавая пример остальным.

Сановники тоже уселись на свои места, горя желанием услышать поучительную историю. Пётр Андреевич не спеша выбрал свободный стул, прочно занял его, маленькими цепкими глазками зорко оглядел слушателей. Аудитория замерла. Рассказчик едва заметно улыбнулся и охотно начал:

– Из Венеции мы, значит, прямиком отправились в Вену, поелику Алексей Петрович непременно того желал, а нам с Румянцевым этого пресечь никак не удалось… – он сокрушённо вздохнул. – Затевать скандала мы никак не хотели – надо было тайну сохранить… Политес соблюсти…

Слушатели без лишних объяснений поняли, что бедного наследника вывозили, по сути, контрабандой.

– И вот полтора месяца мы, как сукины дети, тряслись по мокрым, грязным дорогам, а в Вену приехали в начале декабря…

– Числа не помнишь? – перебил Пётр.

– Ну как не помнить? Я ещё из ума не выжил. Пятого декабря, поздно вечером, в канун дня святителя Николая, – Толстой проворно перекрестился, – а наутро мы отправились далее…

– А как же свидание с императором? – вклинился Меншиков, – Ведь Алексей этого хотел!

Старый интриган снисходительно усмехнулся:

– Надо думать, что мы недаром столько дней в колымаге этой бок о бок телепались – отговорил я его!.. Мол, как в таком непотребном виде, да в захудалом экипаже, в замызганном платье, немытым и нечёсаным, на глаза владыке европейской-то державы показаться? Ещё, мол, чего доброго, засмеют!.. Он, поразмыслив, согласился…

Слушатели понимающе улыбнулись. Однако это был ещё не конец всей занимательной истории. Уговорив наследника наотрез отказаться от встречи с главой Священной Римской империи германской нации, Пётр Андреевич навлёк на себя его монарший гнев и твёрдое желание наконец-таки пресечь дальнейший путь беглецов. В Моравии карету строго задержали по приказу тамошнего генерал-губернатора. Толстой был вынужден подчиниться. Остановившись в гостинице тихого городка Брюнна, незадачливые путешественники приуныли. А к ним прибыл посыльный и объявил, что сам губернатор приедет для встречи с царевичем.

Пётр покачал головой:

– Зело крепко вы Карлусу (он имел в виду императора Карла VI) досадили! Не ожидал он такого!

– Это точно, – согласился Толстой, – спохватился он только поздно.

– А что сказал губернатор? – напомнил Меншиков.

Пётр Андреевич развёл руками:

– Ничего. Опять уломал я Алексея Петровича, чтобы он не принимал губернатора…

Сановники озадаченно переглянулись. Выходило так, что старый интриган всецело подчинил себе наследника.

– И вы поехали дальше? Нахальным манером?.. – подсказал Шафиров.

Рассказчик шумно вздохнул:

– Куда там! Этот чёртов губернатор пять дней нас в городе этом продержал! И добился-таки встречи с… – Толстой хотел сказать «с наследником», но вовремя спохватился и буркнул, – с Алексеем Петровичем…

А вот это, между прочим, были одни из самых ответственных и напряжённых минут. Генерал-губернатор, выполняя приказ Карла VI, поставил жёсткое условие: если он не увидится с Алексеем, то беглецы будут немедленно арестованы. Пётр Андреевич условие это принял и выдвинул своё: встреча должна состояться в присутствии его и капитана Румянцева.

Она-таки состоялась. Несчастный наследник путано и жалко старался оправдать свой проступок. Он сказал, что у него не было приличного экипажа и соответствующего наряда, а предстать перед высокой особой императора в грязном и позорном виде он не имел права. Губернатор не нашёлся с ответом. Но, вероятнее всего, ему пришло в голову одно-единственное объяснение – чёрт их разберёт, этих русских медведей!

– А что было потом? – не отступал Меншиков.

– Потом я проводил его до двери, – спокойно ответил Толстой, – и приказал собираться в дорогу. И вот мы здесь, в Первопрестольной!

В палате воцарилась многозначительная тишина. Слушатели, не сговариваясь, подумали, что удачно провернуть такое хитрое дельце не каждому под силу. Никто из присутствующих не смог бы отважиться на подобное, разве что вице-канцлер Шафиров. Однако и он едва ли. Красноречивому, хваткому Петру Павловичу порой не хватало терпения и мешал взрывной, сварливый характер.

Государь медленно встал, пересёк комнату, молча приблизился к Толстому. И не успел Пётр Андреевич подняться, царь сдёрнул с его бесценной головы пышный парик и звонко поцеловал в обширную плешь. Сановники благодушно заулыбались.

Три дня спустя, 3 февраля 1718 года, государь решил совершить, как должно, церемонию отрешения Алексея. Значит, в будущем наследовать престол будет сын Екатерины – Пётр Петрович, трёхлетний мальчик, пока не умевший ходить и говорить. А согласно церковному календарю этим днём начиналась неделя «о мытаре и фарисее». Последующая же седмица, по странному стечению обстоятельств, именовалась неделей «о блудном сыне».

Доброхоты царевича-беглеца – Шереметев и Головкин – предлагали государю именно в эту неделю всё и довершить. Пётр решил обсудить вопрос с Толстым.

– Оно, конечно, было бы весьма заманчиво… Блудный сын, его покаянное возвращение… – хитровато сощурился старый пройдоха, – ведь народ наш любит душеспасительные гистории! – он посерьёзнел. –   
Только бы сие боком не вышло…

– Боком? И кому же? – озадачился царь.

– Вам, Пётр Алексеич…

Государь замолчал, обдумывая слова собеседника. А Толстой, видя, что тот теряется в догадках, негромко обронил:

– «И когда он был ещё далеко, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его»…

Царь посмотрел в глаза Петру Андреевичу:

– Евангелие от Луки?

– Оно, государь.

Оба помолчали.

– Как ты сказал? Наш народ любит гистории душеспасительные?.. – Пётр, кажется, понял, куда клонит бывалый собеседник.

– Именно так, Пётр Алексеич! И, вестимо, все будут ждать конца благополучного, как же без него? – согласно кивнул Толстой.

– А ежели этого не случится – то меня обзовут вероотступником. Христопродавцем… Ну, и кем-то ещё… – мрачно подытожил царь.

Пётр Андреевич сокрушённо развёл руками.

– Ладно. Будем творить как задумано давеча. Пущай я буду… – царь на секунду запнулся, потом задорно подхватил, – мытарем, а мой сын никудышный – фарисеем!

Толстой скупо улыбнулся и завершил словами Евангелия:

– «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится!»

– Именно так, – согласился Пётр.

Для непосвящённого человека этот короткий разговор остался бы неразрешимой загадкой. Однако оба собеседника отлично поняли друг друга. А для людей того времени, упорно старавшихся или, по крайней мере, пытавшихся жить по библейским заповедям, пример евангельских героев был непреложен.

Известная история о мытаре и фарисее учила отличать истинного правдоискателя от изворотливого лицемера. И государь, не колеблясь, остановился на третьем числе февраля…

Весь обряд полного отрешения наследника от престола проходил в Успенском соборе Кремля. С раннего утра на тесную площадь между Архангельским и Благовещенским соборами стал собираться народ.

Москвичи не только прослышали о предстоящем событии, но накануне узнали из царского манифеста, что царевич Алексей постоянно пренебрегал обязанностями, возложенными на него отцом. Сторонился воинских и мирских дел. Наконец, позорно бежал из страны.

Терпение государя небезгранично, и тем не менее он прощает его, освобождает от наказания, но лишает наследства. Объявляет своего младшего сына наследником престола, и все подданные должны его таковым признать и целовать на этом крест. А кто по-прежнему будет ратовать за Алексея – те объявляются изменниками…

Высшее духовенство, сенаторы, сановники, крупные чиновники, богатые купцы собрались под сводами храма. Простой люд толпился на площади.

Пётр, в тёмно-зелёном мундире офицера Преображенского полка, но с солдатским галстуком на шее, возвышаясь на целую голову над окружающими, стоял вблизи высокого аналоя, на котором лежало Евангелие и рядом – исписанные листы бумаги. Митрополит, в митре и торжественном облачении, вместе со всем своим клиром находился по другую сторону.

Государь, зная настроения московского духовенства, не ждал от него молчаливого одобрения своим действиям, зато был твёрдо уверен, что никто не дерзнёт ему прекословить. Ведь вся духовная верхушка многие годы покорно, безропотно подчинялась светской власти.

Единственное, чему робко следовали церковные чины, – открыто не выражать восторга и раболепия в присутствии царя. И потому все они стояли с постными, унылыми минами, дабы все православные видели – они не одобряют поступок самодержца, но скрепя сердце подчиняются ему, ибо «нет власти не от Бога».

Сенаторы и сановники тоже особо не воодушевлялись. Многие, очень многие с превеликой радостью не явились бы сюда, если бы не важное обстоятельство – своим зримым присутствием или дерзновенным отсутствием каждый свидетельствовал свою верность или неверность царю и трону. Только жестокая болезнь или смерть могла оправдать ослушника.

За стенами храма раздался шум, негромкие выкрики: «Ведут! Ведут!» Государь и все собравшиеся насторожились. Кого ведут, они поняли разом. У Петра от сильного волнения, как обычно, затряслась голова и задёргалось лицо. Меншиков, стоявший рядом, озабоченно взглянул на него. В храме воцарилась напряжённая, гнетущая тишина…

Толпа у входа безмолвно расступилась. Алексей в сопровождении Толстого и Румянцева медленно вошёл внутрь. Вид у царевича был убитый и раздавленный. Наверно, такое мертвенное выражение лица, вкупе с телесной немощью, бывает у людей, ведомых на плаху. Как ни крепились все участники постыдной церемонии – появление её главного героя потрясло каждого.

Даже жестокосердному Меншикову сделалось не по себе. Однако он не спускал цепких глаз с государя, вероятно, опасаясь, чтобы тот вдруг не расчувствовался. Приблизившись к отцу на расстояние нескольких шагов, Алексей едва не сделал попытку упасть ему в ноги. Но царь дал знак Толстому и Румянцеву, и те вовремя подхватили наследника под руки, не давая ему разыграть душещипательную сцену. Лёгкий шумок пронёсся под сводами храма…

Пётр сурово приказал одному из секретарей:

– Читай!

Секретарь Думашев взял с аналоя исписанный лист бумаги. Это был царский манифест. Резким, бесстрастным голосом он стал излагать то, что большинство уже знало. И, как ни странно, это скучное, монотонное чтение внесло заметное успокоение в тесные ряды собравшихся. Многие пришли в себя.

Даже Алексей, едва не потерявший сознание от всего происходящего, слегка ободрился и стоял на своих ногах, не опираясь на Толстого и Румянцева. Отец выжидательно покосился на него и перестал трясти головой.

Заключительные слова манифеста: «Кто по-прежнему будет ратовать за Алексея – те объявляются изменниками» – прозвучали в напряжённой, кладбищенской тишине. Окончив чтение, секретарь быстро поклонился и отступил.

Царь кивком дал знак Толстому. Пётр Андреевич шепнул что-то наследнику, подтолкнув его в худую, полусогбенную спину. Алексей на деревянных ногах приблизился к отцу и в растерянности, исподлобья, взглянул на него. Пётр кивком показал ему на аналой, где лежало Евангелие. Царевич сделал два неверных шага и замер.

К нему тут же подскочил секретарь, сунул в левую руку наследника заранее приготовленный текст. Это была присяга. Митрополит и его свита настороженно переглянулись. Пётр, заметив это, цепко воззрился в лицо секретаря. Тот мгновенно уловил повеление монарха, ухватил холодную, безжизненную правую руку Алексея, ловко возложил её на Евангелие. Священнослужители приободрились. Их миссия на этом не закончилась.

Наследник едва слышным, прерывающимся голосом стал читать присягу. Зрелище, точнее слушание, выглядело омерзительным. Мало того что половину слов, даже в мёртвой тишине храма, не было слышно, вид кающегося грешника парализовал собравшихся…

Многие, и в их числе фельдмаршал Шереметев, канцлер Головкин, сенаторы Долгоруков и Голицын, не стесняясь, роняли слёзы. Только сам государь, светлейший князь, генерал Бутурлин и Толстой стояли с каменными лицами. Митрополит и его свита не поднимали голов, словно их не касалось всё происходящее.

Наконец Алексей произнёс последние слова, в которых он признавал истинным наследником своего единокровного брата Петра Петровича. Митрополит поднёс ему распятие. Царевич приложился к нему сухими губами.

Секретарь Думашев вручил ему перо и чернила. Дрожащей рукой блудный сын подписал лист присяги. Но на этом вся процедура не закончилась. Толстой и Румянцев увели её главного виновника, а затем новоизбранному, малолетнему наследнику престола стали присягать все присутствующие и расписываться на особом листе.

По окончании важной церемонии государь отправился к себе в село Преображенское на обед, пригласив туда всех действующих лиц. И до позднего вечера все пили, ели и веселились.

Евфросинья – любовница несчастного наследника – возвратилась в Россию в апреле, когда ей приспело время рожать. Государь уже переехал в Петербург, захватив с собой отрешённого царевича. И Алексей, выполнив все пожелания отца, заметно приободрился, с нетерпением ожидая скорой встречи с возлюбленной.

На пути домой она получила письмо: «Батюшка, – писал царевич, –   
поступил со мной милостиво. Слава Богу, что от наследства меня отлучили! Дай Бог благополучно пожить с тобой в деревне». Но, против ожидания, его подружку сразу поместили в Петропавловскую крепость. И, войдя в её нелёгкое положение, каземат бедной наложнице выделили не слишком тёмный и холодный.

Первым на свидание с узницей пришёл Пётр Андреевич Толстой в сопровождении своего ближайшего помощника Ушакова. Этот высокий, благообразный, с гвардейской выправкой майор слыл одним из самых немилосердных палачей.

Неспешно войдя в камеру, Пётр Андреевич благодушно взглянул на подследственную и улыбнулся небольшим, похожим на кокетливый бантик, ртом:

– Ну, вот мы и свиделись опять, Афросиньюшка!

Любовница царевича онемела от страха. Она никак не думала, что её встретят с распростёртыми объятиями, но угодить с дороги прямиком в тюрьму уж точно не предполагала. А взглянув на молчаливого спутника Толстого, от внушительной фигуры которого веяло гибельным, замогильным ужасом, Евфросинья едва не упала с табурета. И ребёнок в её чреве беспокойно зашевелился…

Толстой встревожился:

– Да тебе, девонька, никак рожать пора? – Он повернулся к Ушакову. –   
Нешто мы не вовремя сюда явились, Андрей Иваныч?

Майор, бросив на узницу короткий тяжёлый взгляд, произнёс густым, громыхающим басом:

– Вовремя. Государь проволочки не терпит.

Этот взгляд и раскатистый бас так неотразимо подействовали на заключённую, что она покорно закивала головой, и дитя в её утробе замерло.

– Тогда ответствуй, любезная, что тебе поведал Алексей Петрович? Какими тайными думами и мечтами делился? О чём грезил на досуге? –   
ласково осведомился пронырливый старик, присаживаясь на свободный табурет.

Тут бедная узница стала охотно и без малейшей утайки рассказывать своим дознавателям всё, что слышала, знала и о чём могла догадываться. Её пространные, простосердечные, ошеломляющие признания погубили бывшего любовника безвозвратно. Она с лихвой оправдала все надежды, возлагаемые на неё…

Допросы продолжались несколько дней. Вместе с Толстым и Ушаковым в камеру приходил канцелярист, подробно ведя протоколы допроса. Со слов узницы неопровержимо следовало, что Алексей прямо-таки жаждал смерти своего родителя.

Евфросинья передавала: «Царевич непристойные речи говаривал – я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить зиму в Москве, а лето в Ярославле, Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны».

Толстой и Ушаков, внимательно слушая эти убийственные признания, заговорщицки переглядывались. Любовница давала им в руки такие козырные карты, с которыми можно было вести любую игру. И, без сомнения, только выигрышную…

Они знали, что Алексей после отречения ответил письменно и устно на вопросы, представленные отцом, выдав своих сообщников: Кикина, Вяземского, Игнатьева, Долгорукого и других, но себя он всё-таки выгородил. И многое утаил…

Сообщников схватили, начались допросы, пытки, вновь допросы и пытки, наконец, жестокие казни. Колесованием, отсечением головы, посадкой на кол, ссылкой… Алексей же понемногу успокоился. Гроза как будто миновала. И вдруг эти зубодробительные подробности!..

– Он желал смерти своему отцу, нашему государю? – настоятельно спрашивал Толстой, зная, что каждое слово сейчас имеет особую цену и вес. – И даже насильственной?..

– Желал, – отвечала наложница и продолжала: – а после смерти на царстве останется его жена, – Евфросинья пояснила, – мачеха Алексея…

Толстой и Ушаков молча кивнули. Речь зашла о Екатерине.

– И будет бабье царство, но порядка не будет, а будет смута, – любовница вошла в роль, говоря словами царевича. – Кто-то станет за меня, а кто-то за брата…

Следователи поняли, что речь идёт о наследнике трона, трёхлетнем Петре Петровиче. Обоим стало ясно: этих ошеломляющих откровений хватило бы на то, чтобы их автор сам подписал себе смертный приговор. А когда узница поведала о том, что царевич намеревался поехать в Рим и повидаться там с папой, Толстой уяснил, что пора доложить обо всём государю.

Пётр принял его в Летнем дворце, на левом берегу Невы. Захватив с собой протоколы допросов, Пётр Андреевич подробно и обстоятельно рассказал всё, что успел выведать у словоохотливой заключённой.   
В кабинете царя находились светлейший князь, канцлер Головкин, князь Долгоруков, вице-канцлер Шафиров, генерал Бутурлин.

Внимательно выслушав Толстого, государь, вопреки ожиданиям, не стал метать громы и молнии, негодовать и материться. Хотя кое-кто из сановников, тот же Шафиров и Бутурлин, явно хотели выпустить пар. Но Пётр ответил тяжёлым, угнетающим молчанием. Он словно одолевал какую-то гигантскую высоту или отодвигал неподъёмную преграду.

– Ну, будет, – бросил он после долгого безмолвия, – эти признания Алексей подтвердил? – царь посмотрел в лицо Толстому.

– На то вашего повеления не было, – моментально ответил тот.

– Пусть он с ними познакомится и своё слово скажет, – в голосе самодержца едва заметно прозвучали угрожающие ноты, и все знающие его поняли, что судьба старшего сына предрешена.

– А ежели он будет запираться? – спросил на всякий случай Толстой.

– Поступай с ним как с последним злодеем, – и в выпуклых глазах царя мелькнули мрачные огоньки.

Всем присутствующим стало не по себе.

По приказу Толстого Ушаков арестовал Алексея в его двухэтажном особняке на Адмиралтейской стороне. Поместив царевича в камеру Петропавловской крепости, ретивые следователи тут же учинили ему допрос.

Для начала арестанту дали прочесть показания его дражайшей возлюбленной. Толстой с помощником сидели напротив, не спуская глаз с бывшего наследника. Длинное, высоколобое, узкое лицо Алексея кривилось в мучительных гримасах. Следить за ним и делать нужные выводы не представляло ни малейшего труда. Утаить или отрицать то, что ставилось ему в особую вину, он попросту не мог и не смел.   
Обезоруживающие откровения любовницы выбивали у него почву из-под ног.

Ушаков даже огорчился – малодушие подследственного лишало его рвения и азарта. Но Толстой чувствовал, что им ещё придётся попотеть. Дело было не в признании вины, а в том, что несчастный царевич мечтал порушить, предать забвению все труды и подвиги отца. Этого Пётр не простил бы никому и никогда. Превратить любимый царём «парадиз» в захолустный городишко?! Уничтожить флот?! Распустить армию?!.

И Петру Андреевичу сделалось страшно от мысли, какая судьба ждёт бедного арестанта. В отличие от того же Меншикова, он не испытывал к царевичу неприязненных чувств. А подлое предательство несчастной наложницы не осуждал даже в душе, понимая, что выбора у той нет. Он и сам не однажды поступал подобным же образом, принимая сторону сильнейшего.

Но, как бы то ни было, показания Евфросиньи погубили Алексея. Дальше начались истязания и пытки. Царевич окончательно запутал себя, выбалтывая такие тайны и подробности, которые, вероятно, лишь только грезились ему. Теперь сам Пётр неотступно следил за процессом и неоднократно присутствовал при страшных экзекуциях.

Допрос проходил уже в особом застенке, со всеми атрибутами, необходимыми при подобных операциях: горне, где раскалялись добела железные крючья и клещи, дыбе, на которой подвешивали арестантов, кнуте и батогах.

Мы избавим читателя от подробных описаний того, как и почему происходили подобные мероприятия. Кстати, венценосный страдалец в них и не нуждался. Он и так выложил всё своим мучителям.

Однако нравы и порядки того времени иного не предполагали. Коль скоро Алексей попал в разряд грозных преступников и вероятных цареубийц – эту горькую, страшную чашу ему предстояло испить до самого дна.

А его суровый, непреклонный родитель давал наглядный урок всем своим подданным – любому, посягающему на верховную власть, будь он даже кровным сыном, – пощады не будет никому!..

Царевич скончался при странных обстоятельствах. За пять дней до смерти его пытали шесть раз. И, случалось, дважды в день. При слабом здоровье и хлипком телосложении Алексея истязания были ужасающи.

А 26 июня 1718 года наступили последние мучения страдальца. В книге Петропавловской гарнизонной канцелярии записано: «В 8-м часу утра в крепость прибыли Долгоруков, Головкин, Апраксин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров, Бутурлин. И учинён застенок до 11 часов. Потом разъехались. Того же числа, пополудни, в 6 часов царевич Алексей Петрович преставился». Вот так – коротко и туманно…

«Преставился» – значит умер. И не насильственной, а естественной смертью. Неважно от чего – от пыток, увечий, разрыва сердца, кровоизлияния, но умер сам. Не задушен, не задавлен, не повешен, не застрелен…

Зато гуляли слухи, что царевича то ли отравили, то ли удавили. Однако смущает другое – отрешённый наследник почему-то скончался в самый канун торжества, которое уже в десятый раз должна была праздновать Россия и которым законно гордился царь.

27 июня – годовщина Полтавской победы. И можно только гадать –   
старались или нет ближайшие сановники государя угодить ему и не омрачать грядущее торжество? Но почему-то именно в этот день, впервые за десятилетие, не случилось ни роскошного пира, ни грандиозного фейерверка. И всё это вопреки тому, что Пётр почти до самозабвения увлекался огненными потехами по любому подходящему и не подходящему поводу...

По городу поползли мрачные слухи. Жители знали, что царевич заключён в Петропавловской крепости и там его жестоко пытают. Случайные свидетели будто бы слышали ужасающие крики и стоны, издаваемые несчастным. Но 27-го числа из бастионов не доносилось ни звука, а главное – туда не приезжали кареты высших сановников. И потому следовал непреложный вывод: Алексей тайно умерщвлён.

Простые обыватели, разумеется, не знали, что смертный приговор царевичу был вынесен за четыре дня до его кончины. Его подписали сенаторы, адмиралы, генералы и высшие сановники.

Священный синод, «как бабушка (слова А. Пушкина), сказал на-  
двое». По мнению высшего духовенства, государь волен поступить согласно Ветхому Завету – то есть предать казни ослушника-сына. Но мог и простить его, руководствуясь Новым Заветом, «ибо сердце царёво в руке Божьей». Как он решит – так и будет справедливо.

Пётр не решил «никак», переложив это на плечи своих ближайших помощников; первым среди коих был светлейший князь. И его корявая подпись стояла во главе мрачного списка…

Лично Меншиков не нуждался в устранении царевича, но как человек, наиболее близкий к Петру, он чувствовал и знал, что тот желает раз и навсегда избавиться от «теней прошлого». От ненавистной супруги, которую ему навязали в юности, и нелюбимого сына, поневоле ставшего врагом.

И, ко всему прочему, на совести Данилыча скопилось столько грехов: мздоимство, казнокрадство, подлоги, откровенный грабёж, – а потому услуга, вовремя оказанная государю, могла сыграть роль громоотвода. Ну, хотя бы на время…

А вот кому гибель наследника оказалась наиболее выгодна – это был Пётр Андреевич Толстой. Вдруг снизойди на самодержца ангел кротости и милосердия и останься Алексей в живых – жизнь и судьба Толстого наверняка круто бы изменились. Во-первых, он выманил наследника из-за границы, он вёл над ним жестокое следствие и навеки разлучил его с обожаемой любовницей…

Кстати, что случилось с ребёнком Евфросиньи – мальчиком или девочкой, – неизвестно. Ходили слухи, будто её вскоре освободили и удачно выдали замуж за какого-то гвардейского офицера, но точных свидетельств нет. А пока шло следствие, главной его фигурой предстал Толстой. Как бывший заговорщик он, конечно же, знал и находил основные пружины заговора и всех его участников…

При всей бесхарактерности и малодушии Алексея роль наследника в возможном мятеже или возмущении вполне могла стать роковой и определяющей. Пётр Андреевич прекрасно помнил, как вспыхнул бунт, когда нынешний самодержец был десятилетним мальчишкой.

Стоило Толстому пустить слух, что Нарышкины – мать и дяди Петра – извели слабоумного Ивана – последнего сына первой жены Тишайшего – Марии Милославской, – остервенелые стрельцы неудержимым валом ринулись в Кремль…

И зная, сколько людей возлагают надежды на скорейшую кончину государя, Пётр Андреевич, как никто, понимал, что за этим последует. Душа и натура русского человека устроены так прытко и складно, чтобы не мешкая перейти от слов к делу. Он не станет долго ломать голову, а тут же разнесёт вдребезги всё вокруг себя…

К несчастью или к счастью, но и Пётр это отлично понимал. Не одни лишь детские впечатления, но и бунт стрельцов шестнадцать лет спустя, и восстание Булавина во время войны со шведами научили его быть всегда настороже. Благодушие и попустительство никогда к добру не приведут…

Накануне подписания смертного приговора у Толстого состоялся любопытный и примечательный разговор с государем. Они сидели в канцелярии крепости перед очередным допросом наследника.

– Сколь сыновей у тебя, Андреич? – сосредоточенно спросил царь.

– Двое, Пётр Алексеич. Иван да Пётр…

Царь подумал и уточнил:

– А который из них тебе дороже?

Толстой не стал кривить душой и признался:

– Старший. То бишь Иван.

Собеседник подпёр ладонью голову, подвигал щёточкой усов и едва заметно усмехнулся:

– У пророка Авраама был любимый сын Исаак. Не старший, но законный…

– И он должен был принести его в жертву, – подхватил Толстой.

– Вот-вот, – Пётр вздохнул, – в жертву Господу… – они встретились взглядами, – А ты бы принёс своего Ивана?

Толстой помедлил и ответил:

– Пожалуй, нет… Скорей бы сам стал жертвой…

– Молодец, что правду сказал… – царь отвёл взгляд, насупился и голос его посуровел. – А когда ты противу нас стрельцов поднимал, помнишь?

Толстой сжался и похолодел.

– Тридцать шесть годов назад, верно?

Старик обеспокоенно кивнул. Он хорошо знал, что царь подвержен внезапным вспышкам ярости и гнева.

– Мне десять лет было, но я всё помню ясно, будто вчера.

– Государь… – едва слышно произнёс Толстой.

– Погоди. Уймись! – махнул рукой самодержец. – Ежели бы Софьина задумка удалась и всех нас прикончили… – он покачал головой. –   
Что стало бы?..

– Бабье царство, а порядка никакого… – собравшись с духом, пролепетал Толстой.

– То-то и оно! И сынок мой непутёвый то же самое говорит… – Пётр криво усмехнулся. – Тебе которое царство ближе?

Бедный старик ответил без промедления:

– Твоё, Пётр Алексеич. Мужицкое, стало быть…

Государь подумал и согласился:

– Тут ты, пожалуй, не лжёшь… – он вновь посмотрел в лицо собеседника. – Помнишь, кем ты был при Софье? Воеводой в захудалом городишке. Может, дослужился бы до воеводы в Архангельске либо в Новгороде, и шабаш.

Толстой согласно кивнул. Царь был прав – ближним боярином или окольничим он бы не стал никогда. Беспоместному дворянину нечего об этом и думать.

– Авраам приносил в жертву своего сына, – задумчиво продолжил Пётр, – потому что Господь обещал ему умножить семя его, дабы оно овладело городами его врагов…

– Но ангел Божий, – осторожно напомнил Толстой, – отвёл его руку и подарил ему овна для жертвы…

Царь покачал головой:

– А кто мою руку отведёт? – он помолчал и прибавил: – Ведь другой жертвы у меня нет. И мне она не надобна…

Толстой, понимая безысходность случившегося, подавленно молчал. Вероятно, обременённый заботами и сомнениями самодержец нуждался в его сочувствии, только Петру Андреевичу и сказать-то было нечего. Привезя царевича на заклание, мог ли он облегчить его участь?   
И для чего?.. А тут ещё убийственные откровения Евфросиньи…

Не дождавшись ответа, Пётр тяжело вздохнул и мрачно произнёс:

– Ну, пойдём-послушаем, что наш греховодник под кнутом на дыбе скажет. А мы потом подумаем.

Они оба медленно встали и направились в застенок, где умелый палач уже развёл в горне огонь, раскалил добела щипцы и разложил розги. А другие сановники, с бледными, траурными лицами, тоскливо теснились у входа …

Но вот пришёл конец изнурительной Северной войне со шведами. Королева Ульрика-Элеонора подписала мирное соглашение. В финском городе Нейштадте 30 августа 1721 года был заключён мир. Пётр, без сомнения, радовался больше всех.

Затеяв нелёгкую военную кампанию ещё сравнительно молодым, полным сил двадцативосьмилетним человеком, государь закончил её уже основательно изношенным, больным, усталым сорокадевятилетним мужчиной. Однако свершившееся событие вернуло ему «второе дыхание» …

В начале сентября жителей Петербурга обеспокоило и поразило странное событие. По холодной разгулявшейся Неве против течения плыла царская бригантина, подняв все паруса. Из трёх носовых орудий клубились облака дыма, через каждую минуту гремели выстрелы, вовсю ревела сигнальная труба.

Горожане высыпали на берег. Они были в недоумении. Кое-кто знал, что государь отправился морем в Выборг на своём судне – и на тебе! Но вот все разглядели у мачты высоченную фигуру Петра. Он размахивал руками и кричал: «Мир! Наконец-то мир!» На Троицкой пристани, куда направлялось судно, собрались тысячные толпы людей.

Бригантина бросает якорь, царь прыгает в шлюпку, десяток матросов рьяно наваливаются на вёсла. А в Троицкой церкви уже звонят колокола, на площадь выкатывают бочки, полные вина и пива. Царь высаживается на берег, толпа дружно подхватывает его и несёт в собор. Пётр шутливо отбивается, понимая, что не может противиться этому взрыву восторга и ликования. Он сам веселится, как ребёнок.

Его круглое, с припухлыми веками, небольшим выразительным ртом и большими карими глазами лицо светится детской радостью. Но как православный человек он спешит в храм, дабы горячо возблагодарить Всевышнего за долгожданный мир…

После благодарственного молебна Пётр выходит на площадь, тесно запруженную народом, ему вручают большой ковш, полный вина, царь поднимает его, возвышая голос:

– Благодарите Бога, православные! Он прекратил войну, длившуюся двадцать один год, и даровал нам счастливый, вечный мир! – окидывает весёлым, искрящимся взором волнующееся море человеческих голов и восклицает: – Пью за вас, русские люди!..

Многие плачут, особенно женщины, раздаются голоса:

– Слава тебе, царь-батюшка! Будь вечно здрав и весел! Сто лет тебе!..

Пётр выпивает ковш до дна и бросает его наземь. Толпа разражается дикими криками восторга. У бочек с вином и пивом выстраиваются шумные очереди. Люди празднуют победу.

К храму съехались все виднейшие сановники государя, а некоторых, увы, уже нет в живых. Два года как преставился главный военачальник генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев…

Нет главы Приказа военных дел Тихона Стрешнева, умер верный Фёдор Ромодановский, ушли в мир иной Фёдор Головин и Алексей Шеин, год назад скончался храбрый Адам Вейде, угодивший в плен в первой битве под Нарвой…

Десять лет его продержали в шведской тюрьме, надеясь, что смелый немец перейдёт на службу к королю. Однако тот не поддался на уговоры, и пришлось обменять его на пленного рижского губернатора…

Но живы Меншиков, Апраксин, Репнин, Брюс, Бутурлин, Мусин-Пушкин, Голицын – те, с которыми Пётр сражался под Азовом,   
Нарвой, брал Нотебург (Орешек), Ниеншанц (будущий «парадиз»), Дерпт, Ригу, Выборг, Ревель…

И все они участвовали в знаменитой Полтавской битве. Каждый из них не раз рисковал жизнью, и государю не в чем упрекнуть своих верных боевых товарищей. Жаль только тех, кого не стало…

Старый вояка Борис Петрович Шереметев наверняка несказанно бы обрадовался долгожданному миру. Из своей 67-летней жизни более сорока лет он провёл на поле брани. Потерял в жуткой турецкой неволе старшего сына…

Михаил Шереметев два года томился в земляной яме семибашенного замка Едикюль в Стамбуле, будучи заложником. Там же держали Шафирова и Толстого. Но через два года оба вышли на волю и продолжали преданно служить России…

После первых, стихийных празднеств через несколько дней в Санкт-Петербурге начался пышный маскарад и продолжался целую неделю. Государь, нарядившись голландским матросом, бил в огромный барабан. Екатерина с корзинкою в руке изображала голландскую крестьянку.

Придворные дамы были одеты нимфами, пастушками, монашка-  
ми (!) и шутихами. Для простого народа соорудили два фонтана, из одного щедро лилось красное вино, из другого – белое. Пили и веселились до упаду. Торжеству даже не помешало наводнение, случившееся в начале ноября.

Река снесла мосты, вырвала с корнем деревья, выбросила на берег лодки и корабли, затопила подвалы и принесла большие убытки купцам. Но, слава богу, вода быстро схлынула, и веселье продолжалось. Сколько было выпито вина и пива, сколько веселья, шуток, смеха, слёз пролилось на улицах, в домах и дворах шумного города – не знает никто!..

Правительствующий Сенат преподнёс Петру титул Всероссийского Императора и Отца Отечества, отныне его стали именовать Петром Великим.

Затем торжества плавно переместились в Москву. В Успенском соборе Кремля император вновь благодарил Бога за дарованный мир и за то, что перед Россией открылись новые исторические пути. И вновь длились праздники, фейерверки, иллюминации…

Огромные Триумфальные ворота установили на Тверской-Ямской, в Китай-городе и на Мясницкой. Торжество продолжалось восемь дней.

Желая несказанно удивить Первопрестольную, государь приказал составить длиннющий поезд из многих десятков саней. На них установили модели морских судов. Маршалом всего парада был светлейший князь. И он его открывал, сидя в открытой барке с громадной позолоченной статуей богини Фортуны на корме.

А следом пятнадцать лошадей едва тащили огромное сооружение, изображавшее двухпалубный фрегат, с мачтами и парусами, где расположился сам царь, одетый матросом, и курил трубку. Из маленьких пушек, установленных по бортам, холостыми зарядами умело палили слуги-мальчишки, тоже наряженные матросами.

Далее двигались «корабли» поменьше, и в них сидела Екатерина в одежде голландской крестьянки, которая ей очень шла, а с ней катили придворные, изображавшие африканок и африканцев. Следом скользили – сани за санями – «корветы», «бригантины», «барки», – и в них теснились вельможи, посланники, гости, одетые китайцами, персами, черкесами, индусами, турками и, конечно же, немцами, французами, шведами, поляками и т. д.

Но больше всего горожан поразила огромная, затейливо расписанная турецкая «кочарма». На её высокой корме, в чалме и расшитом золотом халате, на персидских коврах и атласных подушках, восседал бывший молдавский господарь Кантемир с сыном Антиохом и дочерью Марией, ещё недавно представлявшей нешуточную угрозу матушке Екатерине. Экзотическая красавица едва не покорила пылкое сердце влюбчивого государя…

Потешная «флотилия» растянулась на несколько вёрст. К изумлению и восторгу москвичей, по узким, извилистым улицам «сухопутной» столицы, извиваясь огромной змеёй, катили причудливые сооружения, в которых сидели полупьяные, шумливые и бесшабашные люди, громко и задорно крича:

– Виват, император! Виват, Россия!..

Государь и его сподвижники любили и умели веселиться. Ведь минуло столько лет с начала тягостной войны – и греха в этом не видел никто. А многим казалось, что теперь российский самодержец займётся делами сугубо мирными. И Пётр наверняка так же думал…

Только старые соперники России думали иначе. Давний недруг – Оттоманская Порта, видя опасное усиление северного соседа, решила захватить побережье Каспийского моря и поглотить слабую Персию, у которой были добрые отношения с нашей страной.

И Петру пришлось отбыть в новый, уже Персидский поход.